

Дневники княгини Дабижа

На скромном кладбище североитальянского городка Беццекка обращает на себя внимание одна необычная беломраморная плита. На ней между восьмиконечным крестом, называемым в Европе «русским» и надписью COSÌ DIO VUOLE [Так хочет Бог] высечено на итальянском языке имя княжны Екатерины Дабижа, в замужестве Ростковской, и ее дочери Марии.

Женщины эти до поры до времени были мало кому известны, их жизнь казалась забытой. У них не осталось ни родных, ни близких, ни друзей. Они – эмигрантки, изгнанницы, вынужденные оставить отечество, ибо принадлежали к тому социальному классу, что был раздавлен революцией.

«Белоэмигранты», люди «старого режима», «контрреволюционеры» – ярлыков для беженцев из павшей Империи существовало немало. Намного менее было о них правдивой информации, ибо победители, как водится, переписали историю, вычеркнув из нее неудобные имена и демонизировав проигравших.

Точной статистики о так называемых белоэмигрантах не велось по понятным причинам, и в разных источниках приводятся разные данные. Трудно сказать, сколько их осело в Италии: цифра в двадцать тысяч человек, сообщенная в 1921 г. итальянским МИДом, вовсе не соответствовала реальному положению вещей, ибо включала в себя и тех весьма многочисленных изгнанников, что пересекали полуостров лишь транзитом.

Эта прекрасная страна никогда не стала обетованной для беженцев – ее отсталая тогда экономика, базировавшаяся преимущественно на сельском хозяйстве, и сопутствовавшая хроническая безработица сами порождали массовую эмиграцию. Кроме того, режим Муссолини

подозрительно относился к *russi bianchi* («белым» русским), считая их в той или иной степени зараженными если не марксистской, то, по крайней мере, республиканской и демократической идеологией. Таким образом, эмигрантов первой волны тут обжило немного, в отличие, скажем, от Франции, Сербии, Чехословакии. В первую очередь, здесь удалось поселиться тем, кто уже жил в Италии до революции и имел какие-то связи, – как и автор публикуемых мемуаров Екатерина Ростковская-Дабижа.

Напомним вкратце вехи ее биографии. Мемуаристка родилась в Петербурге в аристократической семье Дабижа-Котроманич с балканскими корнями (девиз рода, стоящий на гербе, – «Так хочет Бог» – и помещен на ее надгробии). Детство княжны проходило в Украине: Дабижи владели усадьбой Романовщина в Черниговской губернии и большой квартирой в Одессе.

В 1886 г. княжна выходит замуж за помещика польского происхождения Александра Аркадьевича Ростковского, родом из Херсона, дипломата по профессии (его родные также проживали в Одессе).

В 1903 г. царский дипломат был убит турецким жандармом в городе Битола (бывш. Монастирь) в Македонии и торжественно как павший на государственной службе погребен в Одессе, куда вдова в итоге вернулась жить. Тут она встретила революцию 1905 г., став свидетельницей восстания на броненосце «Потемкин». Здесь же она переживает драму своего близкого друга, «красного адмирала» Петра Шмидта, возглавившего революционные события на кораблях черноморского флота. Ее отчаянные попытки спасти Шмидта не удались...

События февраля 1917 г. застают Ростковскую в Петербурге, где в тот самый день, когда Николай II отрекается от престола, ее сын Борис приносит присягу на верность царю и отечеству на церемонии посвящения в кадеты. Когда начинается гражданская война, молодой кадет уходит в Белую армию и гибнет в братоубийственной смуте.

Екатерина с дочерью эмигрирует в Италию, в Неаполь, где она бывала до революции и где у нее много добрых знакомых. От неаполитанского знойного лета Ростковские обычно спасаются на Севере Италии, в курортном местечке Беццекка, где их и застает начало второй мировой войны. Мать и дочь решают переждать тяжелое время тут – оставшись в Беццекке, как оказалось, на всю оставшуюся жизнь.

Екатерина Васильевна уходит из жизни в Беццекке в день Рождества 7 января 1943 г., ее дочь там же – 29 июня 1976 г.

К неаполитанскому периоду, к 1920-м годам, относится написание Екатериной Васильевной мемуаров на французском языке под псевдонимом Княгиня де Каер. Псевдоним составлен из ее инициалов, К(а). (э)Р. во французском написании имени – **Katherine de Rostkowski**.

Воспоминания, предлагаемые читателям, состоят из 76 машинописных и 11 рукописных страниц. Они были переданы дочерью Марией в архив Исторического музея г. Тренто в 1949 г. и долго ждали там своего часа. На русский язык их превосходно перевела Вера Ивановна Тарасенкова (Москва – Флоренция).

...Из небытия эта рукопись вышла благодаря следующим обстоятельствам.

Профсоюзный работник Эннио Бордато (г. Роверето), увлеченный, как это нередко бывает у итальянцев, российской историей, часто бывал в городке Беццекка, где родилась его супруга. Там он слышал полулегендарные истории о жившей и скончавшейся там *principessa russa*, «русской княгине»: ее изысканный образ произвел сильное впечатление на местных жителей. На коммунальном кладбище он действительно обнаружил плиту с «русским» крестом и фамилией Дабижа-Ростковская.

Сбор сведений о них оказался сложным и долгим. Постепенно из небытия возникли очертания интересных судеб. На воссоздание биографии «русской княгини» у него ушло четыре года: не будучи профессиональным историком, он мог отдавать поиску лишь свободное время. Так сначала вышла итальянская монография *Sotto un cielo straniero* [Под чуждым небосводом] (Роверето: Edizioni Osiride, 2000), написанная Эннио Бордато.

После этой публикации к поиску по Дабиже-Ростковской подключился автор этих строк, живущий в Италии и занимающийся историей эмиграции из бывшей Империи. Уже вдвоем они написали книгу о Ростковской-Дабижа «Под чуждым небосводом» (С.-Петербург: Алетейя, 2009). В процессе создания этой книги было принято решение осуществить полный перевод на русский мемуаров Ростковской-Дабижа.

Михаил Талалай
Неаполь

Княгиня де Каэр

(Екатерина Ростковская, урожд. кнж. Дабижа)

Свет, сумерки, тьма одной русской жизни

Перевод с французского Веры Тарасенковой
под редакцией Михаила Талалая

Предисловие

Раньше была у меня прекрасная родина,
Дубы там поднимались высоко,
Склонялись нежные фиалки...
Это был сон.

Гейне

Любимая страна, потерянная для меня из виду и из жизни, моя Отчизна – это Россия. Из всего моего достояния, из всего самого дорогого моему сердцу у меня осталось одно неизгладимое воспоминание, которое ничто не сможет отнять у меня... воспоминание о моей растерзанной стране, саднящее душу воспоминание о тех, кто мне дорог, несмотря ни на что, и кто остался там в силу фатальности ужасной судьбы – в молчании и безвестности.

Вспоминать о счастье, вспоминать дни, наполненные радостью и светом, – это так естественно, но вспоминать о несчастье, видеть его все время перед собою, вечно присутствующим, непоколебимым, как скала, готовая раздавить вас своей тяжестью!!! Столь мучительно касаться трагической судьбы моей Родины! В комнате умирающего если и говорят, то приглушенным шепотом, хранят молчание перед тайной неизбежного, не давая вырваться слезам боли. Но как мож-

но молчать перед преступлением, и почему молчать? Ведь это мой долг – протестовать – и во имя моей родины, и особенно во имя тех, чьи невыносимые страдания не могут дойти до нас сквозь тюремные стены дабы пробудить совесть и человеческое сострадание. Они страдают и умирают, но их агония – это моя агония. В память о них выступаю с чувством возмущенного протеста и ненависти и протестую против темных сил, против убийц, запятнавших себя кровью мучеников...

Пусть крик моей скорбящей души найдет отклик в услышавших меня сердцах, пусть они проснутся и поймут!!! Это все, чего я хочу, в этом все мое желание русской женщины и матери. В этом и моя надежда, чтобы никогда и нигде не повторилась великая трагедия, разыгравшаяся в России, апофеоз которой утонул в слезах отчаяния, в крови и смерти.

Вспоминаю наш последний праздник Пасхи в Петербурге, во время революции, в марте 1917 года. Я получила поздравительную открытку (она тоже стала последней). На ней талантливый художник представил Россию в виде молодой красивой женщины в богатой национальной одежде, но одежда этот была смята, разорвана и покрыта пятнами крови, чело бледно, гордо поднятая голова – без кокошника, виски помертвели, глаза полузакрыты. Женщина откинулась к стене в состоянии сильной боли и отрешенности, ее руки пусты и бессильны, и все ее усталое тело сгибается под тяжестью невыносимого страдания. Она едва держится на узком краю черной пропасти, разверзшейся у ног. Небо вокруг мрачное, тяжелое, с красными трагическими всполохами. «Христос воскрес!» – возвышенные слова, которыми всегда обменивались в радостное время Пасхи, сопровождали эту открытку.

Пасха! Какой это был раньше на Руси замечательный праздник, самый славный из праздников. Восхитительный звон колоколов раздавался по всей огромной Империи. Везде стояла радость, счастье, возрождение, весеннее пробуждение... А тогда о чем звонили колокола, в то время революции, в ту последнюю Пасху, колокола, которые мы слушали, как похоронный звон, раздававшийся в наших сердцах... Россия, все еще величественная и прекрасная, была только юдолью

плача в те торжественные дни, безо всякого проблеска радости и почти без надежды. Она стояла в начале долгой дороги, страшной и темной *via dolorosa* [дорога страданий, крестный путь], по которой мы все еще идем, без отдыха, мы, ее дети, мы, ее безутешные сироты...

Это был мой последний праздник в России, моя последняя весна в Петербурге. И несмотря ни на что, шло еще счастливое время, потому что я жила на родине, и меня окружали мои дети... Эти видения, а также и другие, ужасные, – все время передо мной. Они тесно связаны со временем, идущим вперед, ничего не меняющем в жестокой реальности, ставшей для тех, кто не страдает, привычкой, бесполезно повторяющейся историей.

Кое-кто видит в нынешнем положении вещей логический результат царского режима... Но ошибки, несправедливости того времени, чего стоят они – по сравнению с ужасающей жестокостью утонченных пыток, неслыханной бесчеловечностью, эксцессами, явившимися плодом диктатуры палачей, бандитов, сбежавших с каторги! Кто же эти маньяки, захватившие управление огромной страны и развязавшие все силы бессмысленного вандализма, дабы попристутствовать в качестве циничного зрителя «при интересном эксперименте» (слова Ленина), состоявшем в крахе Империи.

Вряд ли я скажу что-то новое. Другие уже написали много, и лучше меня, но не стекаются ли маленькие ручейки в большие реки? Хоть эти ручейки в России горьки от слез и красны от крови! Они текут все время... и мы не можем забыть это сами и не можем дать забыть другим. Не знаю, увидят ли когда-нибудь свет эти строки.

Мне хотелось лишь рассказать о том, что пережила, описать несколько страниц моей жизни, прожить заново и мои счастливые дни, и ужасные события 1905-1906 годов, одним из действующих лиц которых стал лейтенант Петр Шмидт, прозванный «красным адмиралом», те события, в которые я была замешана вследствие драматических обстоятельств, и которые явились прелюдией к еще более ужасному времени, времени революции 1917 года...

Глава I

Веселые годы,
Счастливые дни –
Как вешние воды
Промчались они!

Тургенев

(откуда, так ли???)

Всегда, с самого раннего детства, приезд на Украину, в наше замечательное поместье, был для меня источником необыкновенных эмоций и заставлял радостно биться мое сердце. Вспоминаю эти приезды на каникулы, когда мои родители и мы, дети, прибывали из Петербурга, чтобы провести три летних месяца в Романовщине, нашем благословенном home [дом (англ.)], дорогом всем нам. Три дня в пути – долгое путешествие, но, тем не менее, последнюю ночь я не спала, я просто не могла! Мне не терпелось увидеть даже ночью, при свете луны, или при свете бледной зари первые украинские хутора с белыми хатами под соломенными крышами, окруженные цветущими вишнями, высокие тополя, которые как стрелы тянутся к звездам, а вдалеке, на просторе, – поля, ветряные мельницы с широкими вращающимися крыльями. Несмотря на шум поезда, мне кажется, что слышу восхитительные местные песни, протяжные, грустные, которые поют день и ночь в этих очаровательных местах. Мое детское личико прилипло к стеклу, сердце переполнено радостью, я посылаю взволнованный привет алому пробуждению зари, цветущей степи, девушке в венке из цветов и лент, что смотрит на проезжающий поезд, гоня белых гусей. На дороге – пара быков с огромными рогами, запряженные в крестьянскую повозку. Сам крестьянин идет рядом с трубкой в зубах, в гордо заломленной каракулевой шапке. Сгорая от желания уловить малейшую подробность пейзажа, я упивалась этой поэзией, неуловимой и всепроникающей, как пьянящий аромат фиалок, наполняющих леса у меня на родине.

О моя Украина! Сегодня вдали я зываю к тебе, я, лишенная всего и изгнанная с земли, где похоронены мои предки, имена

которых сквозь века связаны с твоей историей! Колыбель моего детства, мечты юности, жизненные радости и печали, до последних слез, скатившихся в момент насильственного и фатального прощания! Все погребено под землей, на которую моя нога никогда больше не ступит, которую глаза мои не увидят, чтобы вновь отыскать следы прошлого, стертого, изгнанного разбушевавшейся силою.

В нашем поместье Романовщине из поколения в поколение жил наш род в тени развесистых дубов, четырежды столетних. Знаю, никогда более мы не услышим этих старых свидетелей исторических событий, шепчущих нам воспоминания прошлого; в шуме их листвы не услышу я более легенд о русалках, что качаются на ветвях, расчесывая свои длинные зеленые волосы, – не придут они более играть на серебристом озере, не спрячутся под колесами старой мельницы, поджидая молодого путника, чтобы зачекотать его до смерти, хохоча при свете луны. Мелодии, широкие, как степи, не долетят до меня ни в ночи, ни на закате солнца, а большой темный парк, окружавший голубовато-зеленый глаз озера, стих под ударами мертвящего топора. Могучие дубы и высокие тополя тоже потеряли свои старые гордые головы.

Не пощадили ничего, все разрушено, вплоть до нашего дома, просторного, красивого, с большим залом, с длинными белыми колоннами, террасами и балконами, где мы так чудесно проводили время. Разграблена библиотека, уничтожены картины, все, что было красотой, умом и душой, – все там погибло. И мои предки еще раз закрыли глаза, вспоминая прошлое: глаза на их портретах проколоты штыками большевиков...

Задаю себе вопрос: что для меня еще осталось от моей родной страны? Не считая могил, какая между нами есть связующая ниточка, тянущаяся сквозь огромное пространство, нас разделяющее? Что у меня сохранилось, кроме неба, ночи и холодного северного ветра, прилетевшего с моей Родины? Она шлет мне привет своим дыханием. И оно жжет мне глаза...

Оставив в стороне мои чувства, приоткроем, по крайней мере сейчас, занавес на действительность... Мой рассказ уводит меня на Украину, в еще солнечные времена – хочу опять раствориться в ее душе.

И вот я вновь вижу нас голубым смеющимся утром на вокзале городка И<чня>. Вокруг – бесконечные пространства полей, цветущие луга. Деревни рядом словно спрятались в цветущих садах и огородах. Блестящая на солнце карета ждет нас. А бравый кучер Михайло, который гордится своими великолепными лошадьми, очарован и собственным видом, и нашим приездом. Он весело здоровается с нами. Его черные с хитрецою глаза светятся радостью... Михайло служит у нас лет двадцать, оставаясь по-прежнему молодцеватым и живым, а временами – и столь веселым! Больше всего он обожает лошадей, пляски и песни, как настоящий украинский цыган, тип которого он ярко выражает. Вид у Михайло действительно бравый! Видно, что он особенно принарядился к нашему приезду. Под черной бархатной безрукавкой, стянутой серебряным поясом, надета желтая шелковая рубашка. Складки одежды ниспадают на широкие бархатные шаровары, заправленные в высокие сапоги. Рукава рубашки кажутся золотыми на фоне черного бархата, и в довершение его помпезного кучерского наряда – круглая высоко надетая шляпа с узкими краями из черного шелкового фетра с торчащими павлиньими перьями. На них загораются зеленые и золотые искорки, а самсонова шевелюра, черная и кудрявая, окружает, как ореолом, живописную голову Михайло.

Мы едем, подхваченные быстрым порывом рысаков, через поля, влажные от утренней росы, и доезжаем до нашего леса. От земли, от каждого куста поднимается нежный аромат, чувствуется весна, насыщенная соблазнами, свежестью, весна во всем великолепии буйной молодости. Пение соловья, зов кукушки и песни доносятся до нас отовсюду – лес наполнен этими звуками. Весна безудержно поет пробуждение жизни, упоение счастьем.

По дороге нам встречаются целые поляны ландышей. Мы останавливаем повозку. Какое блаженство погрузить лицо в только что сорванные букеты! Их белые и холодные от росы колокольчики опьяняют своим ароматом. Михайло прикрепляет несколько ландышей ко лбам своих «детей» – так он называет лошадей. Я тоже смотрю с любовью на этих двух вороных братьев: они и в самом деле бесподобны. Вспоминаю день, когда их привели.

Восхищение было всеобщим. Молчал лишь Михайло. Серьезный и очень бледный, стоял он перед лошадьми, пристально смотря; губы его слегка дрожали... Вдруг он резко наклонился к их мордам и, поцеловав их, неистово пустился перед животными в безудержный казачок.

Между этими тремя существами установилась самая нежная дружба. Даже ночью было слышно, как они вели между собою сентиментальные разговоры. Михайло всегда жил с лошадьми и прекрасно понимал их язык. Он знал, что именно Гетман сказал Казаку и его собратьям по конюшне, Орлу, Вихрю, Нахалу. В жизни лошадей для Михайло не существовало никаких тайн. Он знал досконально их игры, ревность, благородство и эгоизм. Все ему было известно, он принимал в их жизни участие и как друг, и как отец.

В России конюшня и лошади, похоже, объединяли хозяев со слугами. Примерно подобная же дружба устанавливается в семьях между матерью и кормилицей – на основе взаимного доверия, привязанности и общей нежной заинтересованности по отношению к тому, кого воспитывают вместе. Дети и жеребцы столь похожи!

По мере того как мы приближаемся к поместью, дорога между стенами леса становится шире, и повозка въезжает под свод высоких дубов, ветки которых, подобно огромным рукам, тянутся нам навстречу. На краю леса то тут, то там – красивые белые хаты с садами и огородами, где цветут маки и множество подсолнухов, похожих на огромные желтые астры. Подсолнухи особо любимы на Украине и за цветы, и за семечки, которые щелкают, перебрашиваясь насмешливыми словечками, – ибо люди здесь веселые, а определенная мечтательность в природе украинца совсем не помеха задорному характеру.

Наши друзья, крестьяне и крестьянки, завидев повозку, приветствуют нас добрейшими сердечными улыбками. Старики знают меня с детства: большинство их служило моим родителям, другие крестьяне выросли вместе со мною. Я в курсе их семейных дел, свадеб, рождения детей, я знаю их истории, особенно старинные, из эпохи крепостного права. Поэтому с неподдельной радостью и от всего сердца отвечаю на их приветствия. «Здравствуй,

Маруся!», «Как дела, Надя?» – «Счастья Вам, ваше сиятельство!» – «Спасибо, Оксана, что встретила нас с полными ведрами!» Мужчины улыбаются, сняв шапки. Все – друзья, давние хорошие соседи. Менялись поколения, но нас объединяли воспоминания о взаимной дружбе.

Здесь, среди этих хат под старыми дубами, есть люди, которые мне действительно преданы и которые любят меня. К тому же мы ведем хозяйство вместе. Если не хватает земли, они находят все нужное в нашем поместье, работая на посевах табака, в полях и лугах. Крестьяне возделывают землю, жнут хлеб, косят траву, рубят лес – с учетом своих потребностей. Они получают причитающуюся им долю, например, – добрую половину табака. Рыбаки, всегда одни и те же, имеют тут выгодное дело – арендуют наше озеро, не забывая снабжать нас свежей рыбой, когда нам нужна. Таков их официальный доход (есть у них и доход намного менее официальный, на который я закрываю глаза, пока он не переходит границы). Мы же, владельцы, живем, в основном, в доверии и дружбе с крестьянами и не спрашиваем себя, как и каким образом строятся и обогреваются хаты вблизи нашего поместья все триста шестьдесят пять божьих дней. Сего деликатного вопроса никто тут не касается. К тому же существует хорошая поговорка: «не пойман – не вор». Остается только быть ловкими... Мои дорогие соседи достаточно в сем преуспели: березы, осины, липы и другие деревья, которыми полны наши рощи, срубались с деликатностью и осторожностью, достойными воров опытных. (Испытываю особую нежность к березам: они мне напоминают молоденьких девушек, хрупких, гибких, с длинными светлыми волосами; вот они склоняются друг к другу, поверяя свои мечты. В лунную ночь они одеты в белый серебристый шелк, и когда мчишься на лошадях сквозь лес, вокруг тебя словно белый кружащийся хоровод.)

Вот почему я не обращаю внимания на вмешательство соседей, к тому же, вижу я все или нет, мне приходится как-то соглашаться с происходящим и не подавать при этом виду. Но дубы – это совсем другое дело! Не говоря о том, как трудно их срубить, известно, что ответственность тут иная, и порубка не пройдет незамеченной. Три тысячи дубов пронумерованы подобно цен-

ностям клада. Эти старики дороги нам, мы к ним бесконечно привязаны...

Наш старинный парк раскинулся на шестьдесят пять гектар, его широкие тенистые аллеи окружают озеро. Волшебная сказка... Тут и другие таинственные аллеи под зеленым сводом, которые извиваются, пересекаются, путаются, неожиданно открываясь на широкую круглую площадку, всю усеянную незабудками, и на широкую главную аллею, любимую аллею моего отца, замечательную в своем величии теней и воспоминаний. С противоположной стороны оврага господствует очарование уединенности и абсолютного покоя – зеленое ничем не нарушаемое царство одиночества. Скамейка под цветущей сиренью, нескончаемое пение птиц в зарослях, стук весел на воде, монотонные напевы рыбака, плывущие над озером, и книга, забытая на коленях из-за нахлынувших воспоминаний.

Наконец, мы приехали... В глубине аллеи – белый дом, фасад господского особняка, который внезапно появляется за поворотом. Построен он в виде полукруга, с тремя фронтонами и колоннами, а стройные тополя гордо его стерегут. Вся прислуга со старостой во главе ждет нас.

Какая радость увидеться вновь, особенно встретиться со стариками: они по-прежнему на службе! И в первую очередь, – увидеть мою дорогую старую нянюшку, обнимающую меня и плачущую от умиления. А вот и наш любимый шеф-повар: талант его изумителен, несмотря на преклонный возраст. Его доброе лицо при нашем появлении озаряется улыбкой. Оба, и няня, и повар, родились в давние времена крепостного права – горькое воспоминание, – когда люди могли быть куплены и проданы в нашей стране. Они росли и жили в нашем имении, от поколения к поколению, никогда не захотев воспользоваться предоставленной свободой. Таким образом, они остались членами нашей семьи – дорогими нашим сердцам не только из-за преклонного возраста, но и за добрые души, лишённые всякого недоброжелательства.

При крепостном праве моя горничная служила у сестры моей бабушки А***: ее взяли в имение как вышивальщицу. В то время было обычаем иметь своих вышивальщиц. Крес-

тьянские девушки учились рукоделию, ткали ковры тонкой работы, копируя рисунки и картины, делали ажурные вышивки по льну и муслину, расшивали жемчугом, творили настоящие произведения искусства, сохранившиеся сквозь года. Сколько таланта и вкуса в их работах! Сколько таинственных дум скрыто в этих тончайших узорах! Сколько слезинок упало из глаз, может быть, в чашечки цветов, молчаливые творения бесчисленных юных рук и крепостных душ...

Прошлое похоже на струнный инструмент. Каким бы старым и уставшим инструмент не казался – коснись его, и он ответит вибрирующим голосом, восхитительным или наполненным болью, но всегда живым, пробуждая образы и воспоминания, волнуящие сердце. Вот так и старый дом, погруженный в покой, в сон, пронизанный едва уловимым запахом, присущим старым жилищам, запахом увядших роз или старинного кружева, запахом исключительной чистоты и свежести. Как все это мне знакомо! И так было всегда: паркет, фарфор, хрусталь, старинные портреты и картины, зеркала, бронза – все сверкает вокруг... Каждая комната имеет свое особое очарование, а иконы в серебряных окладах, неизменные в каждой комнате, являются неким символом мистической защиты. Мебель и предметы в комнатах всегда на одних и тех же местах, в течение многих лет, и никому не приходит в голову трогать их – подобным образом прошлое объединяется с настоящим.

В наших старинных семьях и поместьях хранили традиции. Любовь к родному дому, семейному очагу была так же значима, как любовь к Родине и чувство патриотизма. Подобные привязанности очень сильны на Украине, где крестьянин, привязанный к земле как собственник, как землепашец, воспеваает ее с любовью, с музыкальной сентиментальностью, что проявляется уже с детства...

После радостного возбуждения, связанного с приездом, день заканчивается на террасе, выходящей в парк против уснувшего озера. Это час тишины, сумерек: покой в природе, покой на душе, нежные расплывчатые тона, последний синий взгляд вечера и появление первой звезды, пока еще розовой. Наступает величественная ночь, удлинняя фиолетовые тени, широкая, подобно

симфонии, прелюдию к которой поют соловьи. Воздух напоен запахом резеды. И снова слышатся песни, отвечая эхом ночи.

Как можно не вспоминать об этом, как можно забыть украинские ночи, воспетые столькими русскими гениями в их несравненных поэмах! Именно эта красота природы вдохновляет народ. Именно в ней черпает он свои восхитительные голоса. Михайло поет как настоящий артист, всей душой отдаваясь страсти. Его голос чарует. Он любит петь, особенно при луне, в лесу и в поле. Тогда молодые крестьяне прекращают свое слаженное пение, чтобы послушать его. «Тише! – говорят они. – Михайло поет!»

О, этот теплый голос, распевный, дрожащий от окутывающей меланхолии! Сколько раз в моей жизни я его слушала, сколько раз его слушали многие мои друзья и знакомые, приезжавшие издалека! И никто, знаю, никто не мог забыть притягательной силы этого свободного голоса, этого очарования – огромного, как пространства наших степей. Он доносится до нас с другой стороны озера, из глубины леса или с поля, где Михайло искал уединения, чтобы петь при луне! Песня удаляется, поднимаясь все выше, под звездный небосвод, пропадая и возникая вновь, почти как плач... И последняя, чистая, неопределенная нота улетала в мир ночных легенд...

«Что ты пел вчера? – спрашивала я у Михайло. – Что за красивую песню?»

«Да то ж моя песня... Было так красиво. Луна стояла ясной. Я выгуливал Марса и Ромуса, и даже не знаю как... Душа моя распахнулась!»

«А знаешь, мы все в какой-то момент чуть было не заплакали!» – сказала я ему, смеясь.

«Но я... и я сам плакал... Когда я закончил песню, то почувствовал, что по моему лицу текли слезы».

Образы, воспоминания прошлого! Они не отступают от меня, как та старинная мелодия моей Родины, припев которой был и остается неизменным для меня:

«Ніде не знайти мені кращого краю,
Ніж моя рідна Україна!»*

* В оригинале – на французском; приведен первоначальный украинский текст.

Глава II

Другие картины, еще более далекие, но такие близкие моей душе, встают передо мною подобно миражу. Цветущий сад, маленький белокурый мальчик играет с белой кошкой, его сестры, красивые и грациозные, играют с моей куклой. Мы все на террасе. Мои родители со своими друзьями, госпожа С***, адмирал (Адмирал ли?) <Петр Петрович> Шмидт, отец наших юных друзей, курит трубку, мой брат, моя маленькая сестра... Передо мною – скорее образы, нежели живые картины, но я вижу как наяву Черное море, темно-синее: кажется, оно подбирается прямо к нам. Это одно из первых восторженных воспоминаний моего детства.

Мы выросли в Одессе вместе с детьми Шмидта. Когда пришло время учиться, мы встречались и в Петербурге, ибо наших родителей связывала старая дружба. Впоследствии жизнь и разные события разлучили нас: мы отделились от дней нашего детства. Белокурый мальчик стал морским офицером. Его сестры и я вышли замуж, но воспоминания детства остались незабываемыми. Время от времени из разных мест до нас как эхо доходили новости... Так мы узнали о свадьбе нашего друга, еще слишком молодого, для того чтобы обзаводиться семьей! Он не стал счастливым, но отдал всю нежность молодого отца своему единственному сыну.

Я вновь увидела его случайно в 1904 году после неудачной войны между Россией и Японией, когда российский флот значительно пострадал. Петр Шмидт почти не изменился. Его спортивная фигура оставалась по-прежнему стройной и гибкой. Смех его сохранил детскую непосредственность, взгляд серых глаз был умен, серьезен и мечтателен – в нем словно отражались моря, что он пересек. Жизнь потрепала его, как буря в бушующем море, но он стал хорошим и храбрым моряком, с честью встречающим удары судьбы. При этом он любил жизнь – как великий идеалист и мечтатель.

Мы с нашей семьей находились в то время в Одессе. Нам представился случай увидеть Шмидта, ибо миноносец под его командованием пришел в Севастополь. Его приезды к нам

всегда вносили оживление: дети видели в нем старшего брата, друга, товарища, забавлявшего их от всего сердца. Подобно истинно русскому человеку, он страстно любил музыку – было настоящим удовольствием смотреть, как он слушает музыку, отдаваясь этому всей своей душой. Однако война, ее фатальный исход, поражения, человеческие страдания, которые он видел столь близко, повлияли на его чувствительную душу и обострили его чувства.

Тема войны была для него невыносимой, заставляла его страдать и возмущаться. Он никогда не говорил о войне равнодушно. Я видела его озабоченным, задумчивым, нервным, обеспокоенным чем-то тяжелым на сердце. К тому же те дни в Одессе были для нас действительно очень тяжелыми, просто ужасными. Шел май 1905 года. Я только что вернулась из морского путешествия, предпринятого для поправки здоровья. Я вновь посетила прекрасные страны, увиденные в прежние счастливые дни: Египет, Палестину и обожаемую Сирию, столица которой, Бейрут, окруженный чудной природой, – мое самое яркое воспоминание о Востоке. Во время путешествия пришла срочная телеграмма: дочь серьезно заболела.

Я тут же покинула эту солнечную страну и спустя несколько дней была уже в Одессе, у моего больного ребенка. Весна стояла восхитительной. Прекрасный город над морем был весь окутан белой цветущей акацией, и это с новой силой заставляло мечтать об Украине, этом райском крае. Мы ждали только выздоровления дочери, дабы уехать в нашу Романовщину.

В один прекрасный майский день я возвращалась домой пешком, сделав кое-какие дела в городе. Наш квартал, всегда очень спокойный, был прекрасно расположен и имел чудный вид на море. Я заметила группу людей, смотревших в сторону порта; у некоторых были бинокли. Напротив, на рейде, стоял большой военный корабль, белоснежный и величественный. С его борта подавали некие знаки: я видела движения цветных флажков, не понимая этого языка. Видя всеобщую озабоченность, стала расспрашивать, услышав в ответ обрывки слов и уклончивые фразы. Сказали, что на «Потемкине» пролили угля...

Я заспешила домой, подумав, что, несомненно, идут учения. Спустя несколько минут сильнейший пушечный выстрел потряс город – я остановилась, словно от удара в грудь. Люди бежали отовсюду, поспешно закрывались окна, двери, магазины. Патруль преградил мне дорогу. «Прохода нет!»

«Но мне нужно вернуться домой!»

«Прохода нет!» – повторил молодой офицер. Тут же раздался второй выстрел, затем третий. Улицы опустели, и я вернулась назад, вынужденная пойти в обход.

«Прохода нет! – услышала я снова окрик солдата – Улицы со стороны моря закрыты».

«Но мне нужно туда – заявляю ему. – Я там живу!»

Дело кончилось тем, что мне разрешили пройти, и офицер посоветовал мне больше на улицу не выходить, ибо с «Потемкина» стреляют по городу. Больше вопросов я не задавала.

Мы нервничали и сгорали от нетерпения узнать, что происходит. Слухи, постепенно доносившиеся до нас, становились все более тревожными и серьезными. По городу в самом деле стрелял взбунтовавшийся экипаж крейсера «Потемкин». Его матросы расстреляли и выбросили за борт офицеров. Все это произошло после очень неприятной истории. Матросы, недовольные кормежкой, послали делегата с тарелкой супа к командиру. Тот, попробовав суп, нашел его хорошим. Матрос оскорбил командира, который, вынув пистолет, застрелил его на месте. Последствия были ужасными – настоящая бойня. Матросы убили всех офицеров: одних в каютах, других на палубе. В живых оставили только одного молодого механика, дав ему приказ направить корабль в Одессу...

Слухи об этом жестоком и отвратительном происшествии распространялись – оно принимало огромные и угрожающие размеры. Тело убитого матроса доставили в порт. На его груди была надпись: «Убит за тарелку супа!». Тогда же экипаж корабля сообщил губернатору и префекту (полицеймейстеру????), что похороны жертвы состоятся в Одессе, что все горожане должны участвовать в траурной церемонии, и что при малейшем отклонении от этого приказа «Потемкин» будет вынужден снова начать обстрел. Толпа любопытных устремила в порт. Все хо-

тели видеть убитого офицером матроса, осмелившегося пожаловаться на плохую пищу экипажа. Час от часу все возрастающее волнение и возмущение захватывало население. Портовые рабочие стали хозяевами положения. Конные казаки, впрочем, патрулировали город, охраняя общественные места и преграждая проход на бульвар, ведущий в порт. Было очевидно, что руководители, как военные, так и гражданские, делали все возможное, чтобы усмирить волнения, не прибегая к силе, и надеялись восстановить спокойствие после похорон матроса, которого сопровождали на кладбище его товарищи и тысячи людей. Однако экипаж «Потемкина», не дождавшись возвращения своих делегатов и опасаясь, что их арестовали, трижды выстрелил по городу, зависевшему теперь от него.

Положение становилось все более трудным и сложным. Направленная из Севастополя эскадра не могла прибыть незамедлительно, так как плавала на учении в открытом море. Два военных корабля, прибывшие спустя несколько часов после востания, вступили в переговоры с экипажем «Потемкина» и, узнав причины бунта, перешли на его сторону. Ситуация казалась тупиковой. С одной стороны в порту угрожал враг, с другой – в городе возмущенная толпа поддерживала экипаж «Потемкина». Озабоченная происходящим и состоянием моей больной дочери, я решила со своей подругой, мисс Ф***, пойти к генералу-губернатору барону К<аульбарсу>, с милейшей семьей которого мне довелось быть знакомой.

Когда мы подошли к Николаевскому бульвару, патруль конных казаков, преградив нам путь, запретил проход. Сказав, что меня ждут во дворце, я предъявила документы и уселась под деревьями бульвара напротив большой и широкой лестницы, которая величественно, террасами, спускалась к порту. Улицы были черны от народа, толпа все прибывала, и на лестнице, ниже, я видела полупьяных рабочих, которые кричали с поднятыми кулаками, угрожая городу. Во дворце я встретила своих храбро державшихся друзей. Барон отдавал приказы офицерам, рекомендуя по возможности избегать суровых мер, чтобы не раздражать еще более горячие головы и не усиливать панику. Поезда были переполнены. Многие жители покидали Одессу. Впрочем, от барона

я узнала, что горожанам нечего бояться. Все проходы в порт охранялись солдатами и пулеметчиками. Жуткие предчувствия охватили многих...

Я вернулась домой. В нашем квартале царило абсолютное спокойствие. Наступил вечер. Сквозь открытые в сквер окна доносился аромат цветов. Вдруг во время ужина, подняв голову, я увидела что-то неопишное. Все небо стало кроваво-красного цвета: казалось, что чудовищный пожар пожирает Одессу. Но с какой стороны он разгорелся? Надо было скрыть правду от детей, чтобы не испугать их, – мы тотчас же закрыли ставни. Оказалось, что полупьяные рабочие и обезумевшая толпа устремились к портовым складам, грабя, разбивая, поджигая все попадавшееся им под руки. Бочки с вином, масло, мазут, нефть – горело все. Это было безумие, ярость, трагическая, ужасающая ситуация. Город трепетал, слыша вопли разъяренной толпы, но не видя ее, так как был отдан приказ, запрещавший ходить по улицам, которые контролировали патрули и военные отряды. Конные казаки на полном скаку разгоняли замешкавшихся. Все бежали, растерянные, не зная куда. Воздух стоял удушающий. Красная ужасная ночь...

Не отдавая себе отчета в опасности, не думая даже о возможности избежать ее, я оставалась дома, не двигаясь, спрашивая себя, что нужно делать во имя спасения детей, ибо именно внизу под нами раскинулся порт со строительными лесами, складами пшеницы, доками – весь этот огромный муравейник. Торговые корабли, иностранные суда – неужели они должны исчезнуть? Как я любила прежде разноголосый шум жизни порта! Его дыхание меня опьяняло! А эти живописные отплытия гордых величественных кораблей, направляющихся в открытое море к Востоку и уносивших частицу моей души. Теперь же порт горел, охваченный пламенем. Никакая человеческая сила не могла остановить фанатичную силу адского порождения. Пьяные мужики закрыли проход отряду пожарных, не давая прекратить всеобщее разрушение!

Лишь поднявшись на крышу нашего дома, я осознала весь ужас этой картины, ее чудовищную красоту. Вероятно, так не горел даже Карфаген! Ночь стояла без малейшего ветерка,

и языки пламени продвигались вперед, медленные, плотные, огромные, безжалостные, пожирая все на своем пути. Каждый взрыв взметал вверх отблески огня фантастических оттенков. На огромной поверхности моря багровыми потоками пылало растекшееся масло. Воздух, насыщенный эфиром, переливался в пурпурном небе широкими полосами газа изумрудного цвета, а огонь, как оранжевая накидка с золотой каймой, продолжал свой триумфальное шествие. Я видела большие парусники, которые пытались выйти в открытое море. Они раскрывали свои белые трепещущие от обжигающего ветра крылья и загорались, как большие ночные бабочки. Вдоль набережной и мола причаленные в ряд торговые суда воспламенялись один от другого. Ажурный мост плавился в огне, и вагоны, как детские игрушки, падали в пекло. Крики, вопли дикой радости следовали за каждым новым проявлением этого ужасающего катаклизма. При таковой иллюминации можно было легко видеть малейшие движения безумцев, которые с факелами в руках продолжали поджигать все, что попало, не думая даже о невозможности собственного возвращения.

Городу угрожала другая, еще большая опасность, ибо резервуары с нефтью находились вблизи порта. В случае пожара в нашем квартале резервуары взорвались бы неминуемо. Как не ужасна была эта мысль, она не застревала в голове – настолько реальность превосходила передо мною любое воображение! В тот момент пламя достигло мола, отрезая путь несчастным. Я видела, как бежали между морем и огнем обезумевшие люди, и как эти несчастные исчезали между двумя фатальными смертями. Другие, с зажженными факелами, пытались спастись, поднимаясь в город. Однако город защищался, опасаясь угрозы штурма: пулеметчики открыли огонь. Доносившиеся снизу крики, разрушающий непобедимый огонь, треск пулеметов разрывали сердце. Вдали виднелось темное море, и «Потемкин», белый силуэт которого вырисовывался, как замок из слоновой кости, прощупывал длинными голубыми лучами горящий город. Все время раздавался раздирающий душу треск. Это длилось долго, всю ночь... Даже больше.

Еще несколько дней потемкинцы, как пираты в прежние времена, оставались хозяевами многих портов этой стороны Черного моря. Затем вымотавшийся экипаж сдался... О корабле-призраке стали рождаться легенды, несмотря на ужас и разрушения, которые он оставил после себя.

Я спрашивала себя, как правительство могло допустить такой бунт, и получила разъяснение, когда на своем миноносце прибыл Петр Шмидт. Он рассказал мне, что неудавшийся бунт «Потемкина» нашел отклик на всей Черноморской эскадре. Состояние умов дошло до предела, чувство протеста пробуждалось в каждом. Случай с тарелкой супа стал искрой, попавшей в пороховой склад. Безупречная до сих пор дисциплина более не существовала. Всем было ясно, что если бы эскадра двинулась по следам взбунтовавшегося корабля, вместо того чтобы сражаться с ним, она перешла бы на его сторону под влиянием момента.

«Делать нечего, остается только сложить руки и ждать, когда буря успокоится», – эти слова мой друг произнес с большой горечью, несмотря на подобие улыбки, скользившей по его губам. Я видела, что он был озабочен более обычного, и взгляд его с грустью остановился на темном порту, груде мрачных обломков.

Красивая жизнерадостная Одесса, которую мы оба столь любили с детства, раскинулась перед нами в черном трауре. Траур вселился в каждую душу, навис над каждым домом, несмотря на цветущие деревья под лучезарным небом. На улицах на каждом шагу бродили безработные, лишенные средств к существованию. Их лица, когда они просили милостыню, не внушали большого доверия. Некоторые были пьяны. Петр никогда им не отказывал и рассеянно, не глядя, давал подаяние.

«Ты разве не видишь, кому подаешь, – они попрошайничают на выпивку!»

«Это для меня ничего не меняет! – отвечал он мне. – Я им даю милостыню, ибо они просят, и даже если выпивка – это их радость в настоящий момент, зачем им в ней отказывать: возможно, они не знали других радостей в жизни. К тому же, счастье на земле настолько редко, и каждый его понимает по-своему. Если я могу что-то дать сейчас, даже для призрачного счастья, я буду делать это всегда и от всей души».

«Это мираж, это не счастье», – заявила я, глядя на черное траурное пространство под нами.

Он заметил мой взгляд: «Видишь, здесь траур и смерть. Но вдаль – бесконечное, такое синее и прозрачное небо, такое опьяняющее свободным пространством. Может быть, трагическая дорога, по которой мы сейчас идем, тоже ведет к простору!».

«Мираж, мираж, Петя!»

«Нет – ответил он. – Счастье и прогресс!»

Глава III

Как хороши, как свежи были розы...

Тургенев

Вот и канун Ивана Купалы, празднуемый на Украине с таким многоцветьем обычаев! Однако святой Иоанн Креститель имеет мало чего общего с нашим Купалой. Это скорее старинный языческий праздник, праздник умирания весны и рождения лета, который отмечают по традиции. Песни и стихи, посвященные Купале, – почти те же самые, что пели и читали в стародавние времена. Музыкальная фантазия на Украине вдохновлялась пробуждением весны, оплакиванием мертвых, вздохами молодых невест. Она выражалась в необыкновенно радостных мелодиях: люди так изъяснялись о различных периодах своей жизни и жизни природы.

Уже с утра по обычаю молодые крестьянки в венках из полевых цветов заводили песни по умершей весне. Праздничный настрой разливался в прозрачном воздухе, солнце смеялось в глазах молодых девчат и парней, работа шла с лихорадочной поспешностью, а припев песни, долгой до бесконечности, растекался на просторе. Ау...

Тут появилась моя старая любимая нянюшка, маленькая и чистенькая, в чепце из черного шелка, с безупречно белым воротничком. Она казалась очень взволнованной.

«Телеграмма?» – спрашивает нянюшка, сгорая от желания узнать ее содержание, несмотря на некоторую боязнь телеграмм.

«Хорошая новость! – отвечаю я. – Через два часа прибывает Петр Шмидт, шли скорей за Михайло!»

Михайло приходит чрезвычайно довольный.

«Едут гости! Эх, и здорово же!» – говорит он, довольный приездом гостей и перспективой конных прогулок.

«Приготовься и отправляйся на вокзал. Приезжает лейтенант Шмидт».

«Отлично! С позволения вашего сиятельства запрягу серых лошадей!»

Он выходит, но тут же возвращается. Его выразительное лицо еще больше оживлено.

«Позвольте спросить, ваше сиятельство».

«В чем дело, Михайло?»

«Сегодня вечером праздник. Не прикажете ли вы старосте дать мне соломенных снопов! Увидите, что за костер я устрою на большой дороге среди леса! Придет народ, деревенские парни, девушки, наши рабочие. Все там будут. Будем прыгать через костры, петь, танцевать! Придут два скрипача – будет замечательно. А еще взойдет луна!»

Он счастлив исполнять ежегодно это поручение все с тем же успехом и с взаимным удовольствием. Моя няня возмущенно сердится на него: «Стыда у тебя нет! Отец семейства, безумная голова! Вместо того чтобы думать о свадьбе своей дочери, которая скоро уж будет невестой, ты идешь прыгать с молодыми, бесстыжий ты козел!»

«Да полно тебе быть такой завистливой, моя молодушка», – отвечает он ей, смеясь, и идет запрягать лошадей.

Теперь моя очередь! Бедная Татьяна Федоровна упрекает меня в том, что я избаловала Михайло и слуг, что я потакаю их капризам, разрешая им сжигать такую хорошую солому, которую можно было бы использовать с превеликой пользой!

Внимаю ее поучениям с покорностью, отдавая должное их справедливости и признавая все мои недостатки и прегрешения... Каюсь столь горячо, что наш старый попугай Коко, влюбленный вот уж двадцать пять лет в старую дорогую ворчунью и за это время выучивший все ее красноречивые и быстрые интонации, вмешивается, ворча, тоже возбуждаясь и издавая

пронзительные восклицания с целью привлечь внимание своей пассивности. Но она распаляется еще больше – «Хоть ты замолчи!» – и приставляет к клетке метлу в качестве успокаивающего средства...

Коко смотрит на метлу с ужасом, ретируясь в самый дальний угол и вереща что-то себе под нос, оскорбленный подобным соседством. Водворяется спокойствие, буря утихает, и моя голубушка, уже смеясь, нежно воркует: «Сейчас займусь вареньем. Сначала – из роз, знаю, моя деточка, что оно ваше любимое. Потом – из клубники, она нынче чудная уродилась, особенно белая, с запахом ананаса, а за ней и из земляники! Вон ее сколько в лесу! А уж потом надо будет заниматься малиной, да и много еще чего. Будет чем мне заняться на все лето. А вам, голубушка, – на всю зиму!» – говорит она мне, радостная, что доставила мне удовольствие.

«Да, да, моя дорогая, – говорю ей нежно. – Ты настоящее золотко, просто обожаю тебя!» И обе, довольные, мы идем совершать обход дома. Моя старушка няня, маленькая, худенькая, держит меня за руку, словно мне все еще четыре года.

В обед мы все собрались на террасе за круглым столом, счастливые от того, что наконец могли принять дорогого Петю в нашей Романовщине, которую он мечтал посетить с детства. Он уже ей очарован, и хотя у него всего два дня отпуска, хочет все увидеть!

«О, это будет довольно трудно», – говорю я.

«Если всего не смогу увидеть, то почувствую душой», – отвечает он.

Мне кажется, что давно его не видела таким счастливым. Петя похож на школьника, приехавшего на каникулы. Его загорелое лицо, его взгляд полны жизни; его стройный вид в белой одежде кажется моложавым, как никогда. Да, решительно он похож на мальчишку, когда живо сбегает по ступенькам террасы, перепрыгивает через кресло в саду, делает кувырок в воздухе, и пружинисто приземлившись на ноги, посылает нам цирковой привет. Какие раздаются восторженные возгласы!

«Сразу видно, что это русский моряк!» – восклицает наша подруга, молодая студентка.

«Достоин арлекина!» – парирует он и, увлекая за собой моих детей, бежит по большой поляне, окруженной деревьями и цветами. «Мы идем на озеро, а потом на старую мельницу, навестить русалок!» – кричит Петя издалека. Через несколько минут белая лодка с длинными веслами отплывает от берега и выходит на простор под красноватыми лучами заходящего солнца. Ряд тополей на противоположном берегу отражается в зеркале озера, напоминая длинную бахрому, опущенную парком в розовую воду.

«Ау...» – слышится с озера. «Ау...» – отвечает лес.

Ночной праздник в самом разгаре, когда мы добрались до большака. Ряд костров растянулся, как длинная красная лента, освещая тяжелые ветви дубов и высокие стволы берез, прозрачные и легкие, как пепельные кружева. Сквозь деревья виднелось уже посветлевшее от яркой луны небо, а от рощи исходил запах свежести.

Вся радость жизни, смешавшись с цветами, лентами, песнями и взрывами смеха, сосредоточилась вокруг костров. Михайло в пурпурной рубахе попал в центр внимания, а его веселый звонкий голос слышался издалека, когда кто-нибудь из парней или молодая крестьянка, прыгая через пылающие снопы, задевали огонь. Как милы их юные лица с шаловливым взглядом, особенно лица крестьянок, обрамленные большими венками цветов! Как живописны их костюмы при ярком свете, особенно в момент, когда ленты и цветные жемчужины взлетают при малейшем движении!

В вечерний час народного праздника мы все одинаково веселы и радостны. Наш дорогой лейтенант уже больше не может сдерживаться. Он всецело отдается веселью и летает над кострами, как белая чайка, легкий и ловкий, не задев ни одного из них. Все восторгаются и удваивают ловкость. Рубаха Михайло развевается над пламенем. «Хоп, хоп, хоп!» – кричит он, бегая и не забывая о том, что недавно его обозвали бесстыжим козлом, и что его дочь уже почти невеста! К тому же, как не прыгать, когда сам господин лейтенант считает достойным такое занятие и делает это столь замечательно.

Святой Иоанн Креститель не остался без радости. Наши слуги – старые и молодые – веселятся от души. Скрипачи пре-

восходят самих себя. Те, кто до сих пор упирался, не выдерживают и пускаются в казачок. О, этот пламенный, быстрый, полный живости безудержный танец со столькими сложными движениями, которые каждый танцор меняет по своему усмотрению. Михайло в ударе: его темная голова запрокинута, руки соединены на затылке, он лихо кружится, с упоением отдаваясь пляске. В заключение, превзойдя самого себя, он встает на голову! Но наш старый бравый друг этим не довольствуется. Сосредоточено и серьезно он входит в круг танцующих с руками за спиной. Постепенно ускоряя движения, он начинает выделять утонченные и элегантные па умелого танцора – молодые танцовщики внезапно останавливаются, словно остолбенев от восхищения. «Вот как надо танцевать, вот как танцевали в мое время! А не так, как вы!» – говорит, запыхавшись, наш добрый друг и уходит, гордый, не обращая больше внимания на всеобщие восклицания.

«А ты, Татьяна? – внезапно говорит он моей старой няне. – Ты о чем думаешь?»

О, я-то знаю, что она мечтает в глубине души о казачке, но, смущенная, не осмеливается и отказывается. Мы все умоляем ее, больше всех Михайло! Наконец, она решается. Няня выходит, поправляя складки широкой юбки, опустив глаза. С присущим ей деловитым видом она начинает следовать за задорным ритмом веселой мелодии, легко кружась и выделявая своими маленькими ножками сложные движения. Как ураган врывается Михайло, и оба они, напротив друг друга, забыв свои ссоры и обиды, кружатся вместе – он, посвистывая, с возгласами, щелкая пальцами, пристукивая каблуками, она, серьезная, со связкой ключей, позвякивающей в кармане.

«Ух, как вы меня утомили, Татьяна Федоровна! – говорит ей Михайло. – Больше, чем молодая плясунья! И за это вам премного благодарен!»

Она же, раскрасневшаяся и смущенная, ни на кого не обращает внимания, и все еще взволнованная, едва улыбается на наши похвалы.

«О, какая ночь! – шепчет рядом со мною Петя. – Мне кажется, я в волшебной сказке. Эта красота, эта простая и естественная

радость, все, что вижу, слышу, эта гармония жизни мне кажутся легендой, сном!»

«Это голос моего края, – говорю я ему. – Это Украина и ее душа! И ничто не может быть более возвышенным для меня, ничто меня не разлучит с ней!»

Через полчаса мы доходим до старой мельницы и садимся на ступеньки. Озеро поблескивает под лунным светом, темный парк спит на его берегах. Стоит полная тишина. Несколько венков плавают в воде. Молодые крестьянки сняли их и бросили в озеро, дабы вернуться на заре и узнать свою судьбу. Если венок остался на берегу, то девушка, надевавшая его в ночь на Ивана Купалу, не выйдет замуж в этом году. Если венок уплыл налево или направо, то с той же стороны девушке следует ждать своего суженого. А если венок исчез под водой! О, тогда слезы и отчаяние, ибо это знак смерти! Но слезы огорчения быстро проходят, как свойственно молодым, – они быстро иссякают со взрывами смеха и с песней.

Молодые крестьянки возвращаются в деревню через поля и лес, и голоса их смолкают вдалеке. Ночь столь тиха и величественна, что не хочется более говорить – из боязни нарушить эту божественную тишину. Подняв голову, с легкой улыбкой на губах Петя смотрит на небо.

«Как грандиозна Вселенная! – произносит он тихо. – Если звезды – такие же планеты, как наша, где есть, как и у нас, человеческие страдания, могут ли они излучать такой чистый, спокойный, лучезарный свет? Нет, там не может быть места страданию или отчаянию. Сегодня, когда я с твоими детьми забирался на мельничное колесо, я заметил звезды небесной чистоты в глазах твоего малыша. Его глаза светились радостью, он был преисполнен гордостью. Этот ребенок будет твоим счастьем. Ты будешь гордиться им, как гордишься его отцом. Постарайся только не обижать его. Детское огорчение часто причиняет ребенку больше зла и больше влияет на его жизнь, чем глубокая обида, перенесенная взрослым человеком. Душа ребенка не должна страдать, она должна быть наполнена солнцем. Вот почему наше собственное детство наполнено светом в наших воспоминаниях, ибо наше истинное счастье создано в прошлом. Но

хотелось бы иметь немного счастья и в настоящем, не только для себя, но и для других!»

«Наше личное счастье, думаю, зависит часто от нас самих, а всеобщее счастье – это слишком большая проблема, почти неосуществимая, как все, что выше человеческих сил».

«О нет, – отвечает Петя мне с горячностью. – Оно осуществимо, но, к сожалению, все наши силы, желания и любовь направлены главным образом на удовлетворение наших личных интересов. Никто не мечтает всерьез отдать все силы своей души благополучию ближнего. Ему не отдают даже частичку своего сердца! А без сердца, без любви прогресс невозможен и не может существовать. Возьмем для примера меня. Ты знаешь историю моего брака. Я был молод, я полностью посвятил себя тому, чтобы возвысить одну душу, стараясь направить ее на истинный путь.* К несчастью, я не смог добиться этого. Тут только моя вина. Убежден, что с чувством такта, с вниманием в каждом человеке, даже в самом злом преступнике, можно затронуть душу и зажечь в ней чистый свет. Совершенно не допускаю, что наша судьба должна быть только вместилищем страданий и испытаний. А так как я этого не допускаю, то мечтаю и желаю от всей души, насколько могу, осуществить это кредо моей жизни. Сила не имеет права подавлять слабость. Сострадание должно склониться над страданием и, протянув ему сильную честную братскую руку, помочь ему воспрянуть, чтобы вместе служить Родине и человечеству. Только тогда мы сможем приблизиться к счастью на земле. Только тогда у Земли будет право засиять во вселенной так, как сияют звезды. И мы поднимемся к свету не через страдания, а через счастье, обещанное в Евангелии тем, кто любит ближнего. Именно в этом суть моего кредо...»

С такими словами он выходит из тени под сияние полной белой луны, появившейся над блестящим озером, и поднимает свой взор на небо. Его вдохновенное лицо светилось чудесной радостью.

«О, какая восхитительная ночь!» – прошептал он тихо и стал напевать старинный романс Глинки: «Когда, о душа моя, ты стремишься погибнуть или полюбить...» (ТАК ЛИ??)

* Речь идет о жене Шмидта, Доминике Гавриловне Павловой.

Его слегка приглушенный и мечтательный голос звучал грустно и меланхолично. Я страдала, слушая его. С каким-то тревожным беспокойством я предчувствовала, что в душе моего друга рождалось что-то неуловимое и таинственное.

«Почему же, осыпанный розами, я не достиг царства теней?» – последний звук дрожит, словно вот-вот разобьется...

«Петя, ты в самом деле уезжаешь завтра?»

«Да. Так надо. Как бы тяжело не было, я должен вернуться, мой отпуск кончается завтра, на миноносце меня ждут. Служба не терпит отлагательств. Но если бы ты знала, какие силы я почерпнул здесь, в этом царстве отдыха! Мне кажется, что вся моя душа обновилась! Все, что оставалось во мне темно-го, подавленного, больше не существует. У меня словно выросли крылья!»

«В таком случае, летим! Разлетаемся!» – смеюсь я.

Чуть погодя белая лодка пересекла уснувшее озеро. Весла блестели при свете луны. В глубине парка показался белый дом. Двери были широко открыты, и красный свет фонаря неожиданно отразился дрожащими зигзагами на воде. Раздавались звуки музыки.

«Кто-то играет на пианино, – сказала я. – Еще не спят».

«Кто может спать в такую ночь!» – ответил он мне порывисто.

На следующее утро он уезжал. Вижу это как наяву. Мы собрались у дома, наш друг стоял в бричке, посылая нам последние приветы. Лошади фыркали от нетерпенья. Голос Пети дрожал, во взгляде сквозило что-то лихорадочное. Он, конечно, пошутил, когда в ответ на несколько восторженный прощальный возглас молодой студентки крикнул:

«До свидания, барышня-революционерка! И если вы того желаете, то встретимся на какой-нибудь баррикаде! Однако, – прибавил он, – я бы предпочел, чтобы наше «свидание» состоялось здесь, в Романовщине».

«Ураа... Романовщине и ее жителям!» – воскликнул он, подбросив фуражку в воздух.

«Ураа... господину лейтенанту!» – закричал Михайло в горячем порыве.

Еще какое-то время мы провожали взглядом уезжающую бричку. Затем она свернула, и на дороге осталась только пыль, клубившаяся в лучах солнца.

Глава IV

Спустя несколько дней после отъезда лейтенанта Шмидта от него пришло письмо. Кроме всего прочего, он просил меня выполнить небольшое поручение. «Я забыл, – писал он мне, – найти в парке дуб, у которого такой же номер, как и у моего миноносца. Тебе это, возможно, покажется смешным. Но я суеверен, и мой дуб очень меня интересует. Не совершишь ли ты для меня небольшое паломничество? И не расскажешь ли мне, каков он, мой дуб? Молодой и сильный? Выше ли он других дубов? Широко ли раскинулись его ветви и не мешают ли они молодой поросли? В этом случае надо их подрезать. Может быть, наоборот, он стоит одиноко, состарившийся, может, сердце его высохло, и он стонет по ночам?»

Еще он писал в том письме, а затем и в последующих письмах, которые прибывали все реже, о том, что времена настали тяжелые, что вспышки недовольства возникали по всей стране, и что интеллигенция и рабочие готовы объединиться против правительства. Подобные новости, завуалированные, доходили из газет и до нашего оазиса.

Озабоченность, сомнения, страх окружили нас, нарушив привычную гармонию. Можно было подумать, что невидимая и торопливая рука бросила нездоровые семена в плохо обработанную почву – будущая жатва не обещала ничего хорошего. Как-то раз меня посетил полицейский из соседнего городка. Он спросил меня, вежливо и несколько загадочно, не жалуясь ли я на крестьян, и все ли спокойно в поместье? Разумеется, мне нечего было ему сказать и к тому же мне бы и не хотелось делать этого. Я предпочла переговорить с воспитателем моего сына, господином Павлом К***, серьезным и умным молодым человеком с тонкой душой и всесторонним складом ума. Еще один идеалист! Ему удалось добиться моего полного

доверия – не ему ли я поручила своего сына! И он сумел стать другом всей нашей семьи. Будучи местным, он лучше понимал интересы крестьян, охотно беседовал с ними; они же, со своей стороны, любили его и в свободные вечерние часы приходили побеседовать с ним.

Старики были мне преданы; но никогда не известно, что творится в голове у молодых, – особенно когда тучи сгущаются и приближается гроза! Павел К*** сообщил, что в окрестности обо мне хорошего мнения, и что мое положение собственника не является чем-то враждебным для крестьян. Короче говоря, меня любили. Княжну считали симпатичной и не слишком гордой! Это хорошо. Молодежи было известно, что я с удовольствием слушала их песни, и что прогулки в нашем парке им не запрещены. «Гигантские шаги» (??), которые им столь нравились, было, пожалуй, самое главное, что их развлекало по вечерам. Однако среди молодых находились и озабоченные политическими событиями, особенно извечным аграрным вопросом. Они доверяли мнению Павла К***, безропотно слушая его. Он же как хороший, умный, крайне тактичный друг, не разочаровывая их, был с ними учтив и справедлив. Таким образом, Павел, сам не зная того, был связующим звеном между молодыми крестьянами и мной.

Приближалась осень. Убранное зерно и табак наполняли амбары. Ночи становились длиннее. Однажды вечером мне доложили о приходе старосты. Чрезвычайно взволнованный, он сообщил, что одна из соседних усадеб горит. Выйдя с ним, я увидела за полями под черным небом мрачные отблески пожара. Крестьяне, как и мы, смотрели на пожар в молчании; я ничего не могла прочесть на их лицах. Отныне почти каждую ночь повторялось то же самое то с одной стороны, то с другой; и все время жертвой пламени был собранный для владельцев урожай. Я спрашивала себя, не придет ли и мой черед?

«Будьте спокойны – говорил мне Павел К*** – что касается вас, то можете себя считать в безопасности вдвойне, так как половина урожая принадлежит крестьянам. Не в их интересах его жечь. А потом, насколько мне известно, ни вы, ни ваша семья ни в чем

не можете упрекнуть себя по отношению к крестьянам. В один из вечеров эти молодые люди сказали мне, что на все Божья воля, но если случится несчастье в Романовщине, то они первыми придут вам на помощь».

Это звучало утешительно, может быть, даже трогательно. Однако очарование осени было нарушено. Несмотря на многоцветную окраску лесов, запах прелой листвы, несмотря на красоту умирающего времени года, сердце не радовалось более, мысли сделались серыми и грустными, подобно осенним вечерам.

Однажды, сидя в сумерках на балконе, мы услышали, как в лесу запели революционный гимн. Красивая, суровая и злоедающая мелодия была так же захватывающая, как и ее слова:

«Вы жертвою пали в борьбе роковой,
Жертвы безграничной любви к народу,
Вы отдали все, что смогли, за Родину, честь и свободу...
Наступит день, когда народ разорвет оковы
И воспрянет, могучий и свободный.

Прощайте, товарищи, вы закончили славное и высокое дело».
(ТАК ЛИ???)

Мы увидели, как на другой стороне озера зажглись факелы. Люди шли туда, не боясь, не думая о том, что они находятся внутри нашей усадьбы, уверенные, что их не посмеют тронуть. Я же, несмотря на общее тяжкое впечатление, восхищалась их красивыми голосами, замиравшими в лесу. Взволнованная, проникаясь важностью момента, я чувствовала себя накануне некоего поворота событий, спрашивала себя, что же еще может случиться с нашей святой Русью...

На следующее утро, направляясь к хозяйственным постройкам, я услышала другую песню:

«Довольно страдать, довольно терпеть,
Довольно служить господам».

Молодые рабочие, увидев меня, внезапно прекратили петь.

«Почему же вы остановились? – сказала я им, улыбаясь. – Мне нравится эта красивая мелодия!» И видя их весьма сконфуженными, сама ее напела – «Довольно страдать...» – продолжая свой путь.

В тот вечер Павел, вернувшись, сказал мне: «Знаете, сегодня вы одержали победу. Молодые рабочие рассказали мне, как вы их застали за пением революционных песен. Они были и восхищены, и удивлены, что вы не рассердились и не обиделись. «Подумать только, – сказали они мне, – княжна, уходя, напевала нашу мелодию. Мы слышали, как она пела, произнося каждое слово».

Итак, несмотря ни на что, я предпочитала шутя относиться к нерадостным событиям.

Одной темной ночью мы покинули нашу Романовщину. На сердце было тяжело от прощания. Проводник верхом на лошади с зажженным факелом освещал нам дорогу. Михайло больше не радовался, лес стоял не шелхнувшись, а звезд на небе не было.

Вернувшись в Одессу, мы еще больше убедились в росте всеобщего недовольства: брожение умов увеличивалось день ото дня.

Великий князь Сергей Александрович, генерал-губернатор Москвы, был убит одним революционером. Великий князь не пользовался популярностью, и его смерть, какой бы ужасной она ни была, не взволновала общественное мнение, хотя овдовевшая великая княгиня вызывала большое сочувствие.

По всей Империи прошли рабочие демонстрации. Оставляю в стороне драматичные события 1905 года – покушения на высокопоставленных чиновников, народные восстания и т. д. – и останюсь на всеобщей октябрьской стачке 1905 года, которой руководил Центральный комитет рабочих депутатов. Стачка разразилась по всей Империи и длилась несколько недель. Железные дороги, суда, фабрики, заводы, все остановилось, замерло. Это было страшным, но, тем не менее, великим событием. Вспоминаю Одессу, погруженную в темноту. Рабочие выказывали безупречную дисциплину: не имея никаких средств, ибо вся работа прекратилась, они стойко держались.

Именно тогда граф Витте, недавно назначенный председателем Совета министров, по случаю Портсмутского мира с Японией представил императору петицию, где решительно сообщал его величеству, что ввиду чрезвычайных событий возмож-

ны два выхода из положения: немедленное подавление восстания или предоставление конституции. По мнению графа Витте, существовал резкий дисбаланс между чаяниями общества и правительством, слишком отсталым для изменения положения вещей. Неудачная война с Японией служила тому доказательством.

После нескольких дней колебаний царь ответил на эту петицию манифестом от 17 октября, провозгласив основные свободы (собраний, объединений, печати), и созвал Государственную думу. По всей России чувство радости достигло небывалых размеров. Как и 14 июля 1789 года во Франции, люди на улицах обнимались, поздравляли друг друга, кричали: «Да здравствует свобода!», «Да здравствует император!».

В Одессе командующего Южной армией приветствовала толпа народа, собравшаяся перед его дворцом. Несколько смельчаков, воспользовавшись предоставленной свободой, водрузили красное знамя на здании городской думы. Такие же чрезвычайные события произошли одновременно во всех городах России. Были захвачены тюрьмы и освобождены преступники, дабы и они тоже смогли насладиться свободой. Вся Империя находилась в чрезвычайном возбуждении, почти безумии. Правительство ответило на манифестации арестами, расстрелами, ссылками. В газетах печатали подробнейшие статьи о событиях.

Тогда же я получила письмо от сына лейтенанта Шмидта*. Он просил меня не беспокоиться по поводу его отца: Петр Шмидт арестован и посажен в тюрьму на борту миноносца. Сын уверял меня, что заточение будет недолгим. В одной севастопольской газете я прочитала следующее: обезумевший от радости народ захотел освободить политических и других заключенных и взломал ворота местной тюрьмы. Репрессии были кровавыми: восемнадцать восставших погибли. Наступил предел. Напоявшая всех радость перешла в бунт. Появились красные флаги, а во время похорон рабочие несли восемнадцать гробов, за которыми шли тысячи людей, певших траурный марш: «Вы жертвою пали в борьбе роковой...».

* Евгений Петрович Шмидт (Одесса, 1889 – Париж, 1951), во время гражданской войны сражался в рядах Добровольческой армии, затем эмигрировал.

У могилы встал лейтенант Шмидт в военной форме с фуражкой в руках, всем своим видом выражая уважение и искренние чувства.

«Существует обычай, – сказал он, – читать молитву на могиле тех, кто нас покинул... Пусть эти несколько слов, которые я хотел бы сказать здесь в память о жертвах, станут для них молитвой. Совсем недавно они были живы. Они участвовали во всеобщей радости, открывая свои души полученной свободе. В той радости они думали о тех, кто в силу обстоятельств не мог в ней участвовать. Они думали, что имеют право присоединить тех людей к счастью, и они пошли к ним – в порыве души. Они погибли за то, что осмелились протянуть руку своим братьям. Это несчастье, непоправимая ошибка. Что можно сказать им в сей возвышенный час, чтобы утешить их потревоженные души и души тех, кого они оставили в безграничном горе! Могу только обещать перед этой открытой могилой, что никогда больше и никоим образом я не пролью кровь своих братьев... Клянусь в этом, и вы поклянитесь со мной!»

«Клянемся!» – ответили сотни голосов.

«Клянемся, – продолжал он дрожащим голосом, – что отныне, объединенные братской целью, мы сделаем все возможное, чтобы защитить с честью полученную свободу, что мы будем трудиться без усталости, чтобы добиться всеобщего блага... Клянусь в этом!» – сказал он, бледный и решительный.

И собравшийся народ вторил громкими возгласами: «Клянемся!». Голоса были похожи на раскаты грома, предвещающего грозу.

Затем в газетах появились сообщения об аресте лейтенанта Шмидта – по приказу командующего Черноморским флотом адмирала. Все в моих мыслях смешалось, я не знала больше, чего ждать.

Спустя несколько дней лейтенант Шмидт был освобожден, с запретом принимать участие в политических собраниях.

В ответ на мое письмо он просил меня, как и его сын, не беспокоиться. Единственное, в чем он оказывался неправ, по его мнению, это то, что произнес свою речь в форме офицера. Но, по его мнению, у него не было времени думать о подобных вещах. «Тог-

да, – добавил он, – я пережил самые счастливые мгновения моей жизни. Подумай только, мне оказали честь быть избранным депутатом от рабочих Севастополя, выразивших мне полное доверие. Хочу посвятить им свою жизнь, отдать все свои силы их интересам. Препградой тому является мой офицерский чин, и я подал в отставку. Лишь бы не задержали с ответом – дорога каждая минута. Как только получу окончательное увольнение, должен буду поехать в Москву и, конечно, не упущу случая остановиться в Одессе. Тогда ты сама удостоверишься в том, что отныне стало целью моей жизни!»

К несчастью, события ускорились, повторяясь повсюду, – с такими же кровавыми последствиями. Прочтя письмо и зная его восторженную натуру, я поняла, что он пропадет. Я написала ему, умоляя вовремя остановиться, – хотя бы во имя его матери. Но увидела я его вновь уже в скорбный час...

Однажды утром в ноябре, открыв газету, я почувствовала огромное смятение. Одна за другой следовали статьи, каждая из которых по-своему рассказывала в деталях о революции, произошедшей накануне на Черноморском флоте. Во главе бунта встал Петр Шмидт, прозванный «красным адмиралом».

Весь день продолжали поступать противоречивые новости, все настойчивее утверждавшие трагическую роль, сыгранную моим бедным другом. Говорили, что на всем флоте водрузили красные знамена. Началась гражданская война. Артиллерия Севастопольского порта открыла огонь по флоту, который через несколько часов сопротивления капитулировал. Писали, что лейтенант Шмидт был арестован и уже расстрелян. Удрученная, в надежде узнать правду я направилась к командующему.

На сей раз он принял меня крайне официально. Холодно и внешне спокойно отвечая на мои тревожные вопросы, он сказал, что сожалеет о том, что среди моих друзей был офицер-предатель и застрельщик бунта.

«Прошу прощения, ваше сиятельство, меня интересует не офицер-предатель и застрельщик бунта. Меня интересует друг детства, почти брат – умоляю сказать о его судьбе».

«С ним будет то, что он заслужил...»

«Тогда...» – начала я, не закончив свою мысль.

Генерал понял, что творилось в моей душе.

«Нет, – сказал он, – Шмидт жив. Но не спрашивайте у меня ничего больше: я ничего не могу вам сказать. Не забывайте – я, прежде всего, солдат, и выполняю свой долг. Разве вы можете упрекнуть меня в этом?»

«О нет! Я никого ни в чем не упрекаю, я только страдаю».

«Не сделаете ли вы мне одолжение, – сказал генерал, внезапно смягчившись, – навестив мою жену. Она и мои дочери будут счастливы увидеть вас».

Однако у меня не было ни сил, ни желания. Отклонив приглашение, я вернулась домой совершенно обессиленной.

Публикация Эннио Бордато (Роверето), Михаила Талалая (Неаполь)

Продолжение следует

